

28 НОЯ 1982

СОВЕТСКАЯ РОССИЯ
Г. Москва

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ



МУДРАЯ ПЕСНЬ

Виктор БОКОВ

Поэт В. Бонов работает над книгой воспоминаний о литераторах-современниках. Один из очерков этой будущей книги посвящает он своему первому литературному учителю, писателю Михаилу Пришвину. С ним мы знакомим сегодня наших читателей.

Впервые я увидел Михаила Пришвина осенью 1931 года в Загорском педтехникуме. Он пришел на литературный вечер. С ним были два прозаика: Алексей Кожевников и Федор Каманин. Тогда все они жили в Загорске. Коренастый, крепко сбитый, Алексей Кожевников певучим вятским говорком читал отрывок из романа о Турксибе; худой, длинный, как плеть, Федор Каманин живо и выразительно рассказывал повесть о детстве.

Пришвин слушал с восторгом. Он любил живое слово и сам был редким рассказчиком. Михаил Михайлович был в хорошо начищенных хромовых сапогах, грудь его закрывала черная, как смоль, борода. Он прочел маленький рассказ.

Дошла очередь и до нас, юнцов техникума, которые пописывали стихи. Выходили гуртом, читали что-то сырое, неуклюжее. Вышел и я и стал читать. И сейчас помню плохие строки: смотрит на землю небо мириадами звезд. Были в стихе и розы, и бриллианты, которые я позаимствовал у Фета.

Вечер кончился. Пришвин поздравил меня: «Заходите, молодой человек. Вы мне понравились».

Через несколько дней я пришел на Комсомольскую, 85. Это был собственный дом Пришвина. Скромный домик, каких тогда было очень много в Загорске, бывшем Сергиевском Посаде. Дом с полуподвалом, белые наличники без резьбы, обит тесом, выкрашен в серый, под стать зимним сумеркам, цвет.

Я робко застыл на пороге комнаты, хозяин позвал меня к столу, за которым потом я слушал его много раз, любовался красивым лбом, осанкой, удивительной могучей шевелюрой «черного араба».

— Стихи ты читал плохие! — первое, что сказал он мне.

С чувством глубокого стыда я утонул в кресле, которое было мне указано. Но в глазах Пришвина светились доброта и расположение. Это я понял. За резкой критикой последовало одобрение:

— Я вас вот зачем позвал. Вы очень красиво держали себя на сцене. Просто удивительно! Деревенский мальчуган, а вышел, как природный артист, с первой ноты не пофальшивил. Молодчина! А главное, что волновался красиво. Этому не научиться. Это от природы.

Так началась наша дружба, длившаяся на всем протяжении жизни писателя.

Я не стал учителем, бросил техникум, поступил на завод в ученики токаря. Пришвина продолжал читать, чтить, пропагандировать. Мне захотелось, чтобы он приехал к рабочим. Они мне говорили: «Что это за Пришвин? Покажи его нам, что это за бог такой?»

Пришвин пообещал приехать. Появился он на автомашине. Михаил Михайлович свободно водил машину, и сам пригнал ее из Горького. В те годы мало кто имел автомобиль, а певец природы, охотник, лесной бродяга, поэт и философ Пришвин стал автомобилистом.

Певец природы вдруг сделался социологом, и разговор пошел о трудности любого пути в жизни, в том числе и пути творческого.

— Все сейчас кинулись писать о соловьях, — сказал он. — А я не хочу о соловьях. Я хочу о машинах писать: я теперь за рулем!

И стал читать рассказ о домкрате-богатыре, который дремлет в багажнике машины, пока не понадо-

бится. А понадобится — вылезет из машины, поднатужится, приподнимет ее, а водитель тем временем и колеса заменит, и ремонт делает. Сослужил свою службу домкрат и опять — нырк в багажник и спит.

Рассказ был очарователен и мудр. Слушатели вздохнули, каждый стал думать о своем — кто о скромности, кто о терпеливости, о готовности сделать свое дело, выручить кого, если в том будет надобность. У меня сохранилось фото этой встречи. Я сижу рядом с Михаилом Михайловичем, а на руках его девочка, тоже участница встречи, слушает она и с тайным ужасом и восторгом поглядывает на черную бороду дяди Пришвина.

...Приходим однажды с моим товарищем Костей Барькиным к Пришвину и отваживаемся прочитать ему свои рассказы. Прочитали и ждем, что он скажет. А он хитровато лезет в свой письменный стол, достает оттуда какой-то конверт надписанный и говорит нам:

— Судить вас буду не я, а тетка Магрена.

И стал читать письмо, которое написала ему крестьянка из-под Переславля-Залесского. Письмо было написано по-деревенски с известной формулой: «И еще кланяется вам супруг мой Иван Тихонович и дочка Валя, и сыночек Федя, и соседка Дарья, которая вам приносила картошку».

Далее сообщалось, кому сшили к зиме, какие валенки скатали, сколько намолотили хлеба, чем будут крыть крышу... Письмо душевное, откровенное — исповедь просто женщины, которая живет семей, заботами о близких.

Прочтя письмо, все также хитровато улыбаясь и поглядывая на нас, он спросил:

— Ну-ка, молодые люди, какой из рассказов, прочитанных вами, ближе к письму моей знакомой?

— Мой рассказ ближе! — сорвался сразу я.

— Правильно! — подхватил Пришвин. — Ваш рассказ и лучше. А вы, молодой человек, — обратился он к моему другу, — вы же знаете, что неправду пишете? Нехорошо!

Так через Михаила Михайловича преподала нам один из важнейших уроков литературы простая деревенская женщина, которая от чистого сердца написала правду о том, как живет она на белом свете.

Пришвин очень сокрушался, когда обнаруживал, что тот или иной писатель не слышит живой речи народа.

Сам он ее слышал на редкость живо. Как жадно схвачена им речь героев уже в первой его книге о севере! Он признавался, что пишет так, как говорила его родная матушка. Я не раз обращал внимание на изустность пришвинской прозы, на ее высокое сказительство. Рассказ «Старый гриб» — по существу своему современная сказка. Я обратил на это внимание Пришвина. Оказывается, и мои слова были для него значимы. Он записал об этом в своем дневнике. В шестом томе его собрания сочинений много десятилетий спустя я прочитал: «Бокков считает рассказ «Старый гриб» фольклором».

Родниковой свежестью слова веет со страниц «Журавлиной родины». Я знал эту книгу буквально наизусть.

Много лет спустя, когда вышел из печати «Заплярный мед», я увидел, что и тут Пришвин обыденный факт трудовой деятельности сделал современной сказкой, дал ему крылья красоты своего мудрого поэтического сердца.

Я пытался разобраться, как написан этот удивительный очерк-поэма. Нигде не было и следов шва, вещь была, как цельный слиток золота, как лермонтовская «Тамань». Он тогда уже переехал в Москву.

Я позвонил и сказал ему, что он написал шедевр.

Была небольшая пауза. То ли Пришвин был смущен, то ли был не согласен со мной в оценке. Тогда я рассказал ему легенду, которую слышал в Сибири. Рассказали мне ее пимокаты. Овладел черт всеми специальностями, все умел. Но вот нашел он на дороге валенок и стал думать: а как же валенок шит? Вертел-вертел его, да так и не сумел понять, как делают валенки. Отбросил он его в сторону да и выругался: «Дьявол знает, как его сделать!»

— Михаил Михалыч! Вы сделали валенок! — заключил я.

Какая детская радость прозвучала в ответе: «Это вы здорово придумали!» Этот валенок он потом не раз еще вспоминал.

«Литературу делают волю», — записал Ренар в своем дневнике. Пришвин повторил его слова, и можно сказать, они стали для него правилом жизни. В шесть утра он уже собран и спешит в лес. Там ждет его пень, на котором, как на письменном столе, будет писать он свои чудо-новеллы, или, по его словам, поэмы.

Подвижническое поведение в литературе было неразрывно связано с подвижническим поведением на природе. Когда опубликует тысячи его фотографий из жизни природы, все увидят подвиг поэта-мыслителя, понимавшего душу живой природы, как Гете. В одну из встреч, уже в Москве, Пришвин протянул мне фотографию с вопросом: «А ну-ка, что она тут делает?»

На фотографии была изображена щука, стоявшая на самой поверхности воды. Глаза ее были вытаращены, сама она ошалела какая-то.

— Михаил Михалыч, а она не икру мечет? — спросил я.

— Знаете, молодец! — обрадовался Пришвин. — Пять часов я высиживал над рекой, пока она не вышла и не взялась за свое материнское дело.

Пришвин открыл, занимаясь фотографией, что паук тклет свою паутину только на рассвете, по росе, когда его нити влажные. Кажется, Пришвин — первый, кто сфотографировал паука за работой, за ткацким станком. На подаренном мне томе сочинения Пришвин написал: «Моему литературному ученику с заветом моего литературного опекуна: «Поблизе, Пришвин, к лесам, подальше от редакций!»

Да, близко стоял он к лесам, к воде, к растительному и животному миру планеты. «Корень жизни» Пришвина — великая и мудрая песня о человеке и его участии во всем живом на земле.

«Пишу о травинках», — говорил он, — а сам только о людях и думаю». Вулгарные социологи, озлобленно выступавшие против книг Пришвина, не понимали, что охрана природы средствами поэтического видения — одна из главных социальных функций литературы. Завиток женских волос, написанный Рафаэлем, не менее социален, чем нарисованный художником шахтер или доярка. Теперь-то нам видно, как далеко смотрел Пришвин.

Это был человек большого гражданского мужества. В тяжелые для меня годы, когда был недолго оторван я от родных мест, он послал мне ободряющие письма. Он не отказался от меня. А когда в апреле 1948 года я вернулся в Москву, он написал мне очень коротко: «Приветствую вас, достойный гражданин, становитесь в строй, пойдем вместе».

Увы, нам недолго пришлось идти вместе. Как-то, проснувшись в тесной своей комнатенке, которую я снимал у одной пожилой женщины, я почувствовал сердцем, что зовет меня Пришвин. Не мешкая, собрался я к нему, а на улице, в газетной витрине, прочитал о его уходе.